

ПУШКИН В ЕГО ДНИ

В. Десницкий

Через две недели после смерти Пушкина Н. А. Полевой писал:

Когда мы все умрем, когда простынут наши сердца, и новые времена, новые подвиги, новые впечатления овладеют чувствами русскими и далеко оставят за собою понятия и происшествия, одушевлявшие Пушкина, и тогда еще он будет великий писатель .

Через столетие переключаясь с нами, Н. А. Полевой рисует себе картину, как далекий потомок придет к месту погребения великого поэта:

Чья это могила? — спросит рассеянная суетливость.

Он жил, — скажут знающие люди, — в девятнадцатом веке и писал стихи. Можете прочесть обстоятельное жизнеописание его в новом издании Словаря русских писателей. Современники называли его первым из своих стихотворцев. В самом деле, стихи его хороши по своему веку и времени.

И Н. А. Полевой спешит упрекнуть нас:

Вы ошибаетесь, будущие знатоки прошедшего! Вы стоите на могиле не стихотворца, но памятного человека и истинного поэта. Благоговейте перед славным прахом нашего Пушкина! Он равно современник и вашего и нашего века. И жизнь его равно поучительна для всех веков.

Как бы оправдывая себя и свое поколение в том, что Пушкина-живого часто не понимали и оскорбляли, Н. А. Полевой пишет:

Пока он был жив, пока он являлся между нами, мы забывали Пушкина настоящего и смотрели в настоящем только на Пушкина будущего“. „Но самое это требование, — продолжает он, — целого и могущественного народа от одного человека, эта боязнь всех за одного, это общее ожидание, что поэт новым бурным переливом гения через скалы и утесы удовлетворит каждой новой потребности наших умов и сердец, — вот мера гения нашего Пушкина.

Сознание величия, тяжести утраты, понесенной страной с безвременной смертью Пушкина, чувствуется в этих взволнованных речах современника великого поэта.

Но нам хочется поставить вопрос, смогли ли современники Пушкина — при жизни его, в процессе его творчества и неустанной борьбы —

осмыслить, оценить, использовать великое содержание, которое давали им произведения поэта? Поскольку и для своего времени Пушкин был осознанным творцом новой культуры?

Великий человек, гений, независимо от того, в какой области человеческого творчества он действует, является выразителем идей своего времени. Он обусловлен в своем мышлении о действиях социально-экономическими и культурными отношениями эпохи, разумом и волей своего класса. Великий революционер, гениальный мыслитель, художник, своей деятельностью созвучные векам, — все они порождены исторической действительностью своего времени, только в этой действительности их гений находит свою силу и выражение.

Но величие исторического деятеля, мыслителя, художника в том и заключается, что они дают наивысшее, совершеннейшее выражение духу времени, разуму и воле своего класса. Великий человек, выразитель тенденций класса прогрессивного на определенном этапе его развития, нередко превосходит своей жизнью и творчеством такие возможности завтрашнего дня человечества, которые не суждено реализовать до конца классу, его породившему. Мы говорим о великих людях предистории человечества, о великих людях, выросших и творивших в классовом обществе, в условиях той или иной формы классовой эксплуатации человека.

Ленин писал о революционном наследстве:

... у нас зачастую крайне неправильно, узко, анти-исторично понимают это слово (буржуа, В. Д.), связывая с ним (без различия исторических эпох) своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественные экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного.¹

Великий художник прошлых исторических эпох и особенно художник искусства слова, наиболее насыщенного человеческой мыслью, гениальный писатель является как бы конденсатором наивысших устремлений и достижений своей эпохи, своего класса.

От поэмы Гомера, от трагедий Эсхила, Софокла через века тянутся нити связей и преемственности вплоть до литературы наших дней. Персонажи великих произведений далеких эпох, переосмысливаемые в про-

¹ Ленин. Собрание сочинений, изд. 3-е, т. II, стр. 315.

цессе сложного развития культуры, живут и в произведениях литературы нового времени. От „Прикованного Прометея“ Эсхила исторический процесс переосмысления символических образов человеческого гения — гения труда, мысли, борьбы — ведет к „Освобожденному Прометею“ П. Шелли. Гамлет Шекспира в своеобразии новой исторической действительности перевоплощается в русского дворянского Гамлета тургеневской повести. Венера Милосская как действенный стимул „выпрямления“ человеческой личности входит в очерк Г. Успенского.

Пафос героизма, человеческие страдания и радости, напряженная борьба за освобождение труда, за раскрепощение личности, выраженные на языке и средствами одного искусства, находят отзвук в других искусствах.

Сама личность гениального мыслителя, художника, политического деятеля, носителя новых качеств в истории человечества, входит в сознание современников и потомков как мощный фактор культуры, требует своего воплощения, выражения своего творчески-действенного содержания на языке и в формах разных искусств. Одной из задач искусств наших дней является творческое заражение масс глубочайшим богатством мысли, энергии, героического пафоса великих деятелей истинного освобождения человечества, вождей рабочего класса. Но эта задача может быть разрешена только в том случае, если художник, представитель определенного вида искусства, сам стоит на высоте исторического сознания нашей эпохи социалистического строительства и это сознание, пафос борьбы пролетариата сумеет перевести на язык своего искусства. Эта задача не только и не столько „мастерства“ в его технологическом понимании, сколько проблема освоения в искусстве новых качеств, которые в борьбе, творческой мысли уже даны пролетариатом и его вождями.

* * *

Если мы теперь, через сто лет после смерти великого поэта, попытаемся кратко определить значение Пушкина в истории русской культуры и литературы, размеры и пределы этого значения трудно преувеличить. В лице Пушкина мы имеем основоположника русского национального языка, своими произведениями надолго определившего пути развития русской классической литературы. Пушкинское движение к реализму, в процессе сложного развития поэта охватившее многообразные литературные жанры, нашло свое мощное отражение и в других искусствах — в музыке, живописи. Творческий путь Пушкина к реализму был поучителен и для революционно-демократической и народнической литературы второй половины прошлого века; учиться у Пушкина, в плане критического освоения его творческого пути и его художественного наследия, может и должна и наша советская литература, идущая к искусству новых качеств, стоящая на пороге к блестящему расцвету социалистического реализма.

Исторически Пушкин стоит на грани феодальной и буржуазной культуры. В своем творчестве, как и великие художники Запада, он дал национальный русский аспект становления новой гуманистической культуры, выразил движение новых человеческих масс к просвещению и свободе. В его произведениях передовые слои русского народа нашли

выражение своим устремлениям к „европеизации“, к участию в лучших движениях мысли человечества, вопреки усилиям представителей старого феодального мира сохранить основы русской „самобытности“.

В условиях становления новой буржуазной культуры, новой буржуазно-реалистической литературы и сама личность поэта, личность Пушкина, была действительным носителем новых качеств человеческой личности. При всей противоречивости жизненного пути Пушкина, совместившего в своем мировоззрении, в своей психике и гордость шестисотлетним дворянством с его феодальным пониманием „чести“, и буржуазно-индивидуалистическое представление о „свободе“ человеческой личности, и предчувствие иной свободы, свободы для всех, — живой Пушкин был человеком нового времени. И прежде всего поэт, в художественной деятельности видевший свое единственное жизненное призвание. Поэт — с развернутым, всегда в движении, поэтическим мировоззрением, поэт, для которого произведение искусства — не плод праздности и забавы, прихотливого вдохновения, а результат напряженного творческого труда. Если поэтический труд Пушкина и не был так „буржуазно“ организован, как, например, труд западно-европейских литераторов-профессионалов XIX в. — Бальзака, Золя, даже русского Гоголя, все же он до неизмеримости далек от „творчества“ дворянских писателей XVIII в. и современников Пушкина, писавших в „часы отдыха“ от своей основной практической деятельности. В этом Пушкин отличен не только от Державина, но и от Жуковского, Вяземского и других современников и „друзей“, бывших прежде всего помещиками, чиновниками царской службы, а потом уже и поэтами.

Новое в Пушкине — и беспредельная широта жизненного восприятия, глубина больших человеческих чувств, острота наслаждения природой, человеческим общением. И вечная жадность к знанию, которая поставила Пушкина как человека и как поэта на предельную высоту образованности, культурности своего времени, в самом широком понимании культуры молодого буржуазного общества, не заряженного еще трудостью и подлостью собачьей старости эксплуататорского класса.

Пушкин всю жизнь учится, и каждая строка его произведений нашла свое конечное оформление в результате напряженной работы, многократного исправления и уничтожения сделанного.

Как художник слова, как поэт своим первым произведением Пушкин положил начало новой поэзии с глубоким и многообразным содержанием, новой поэзии и в ее формальных достижениях, в ее многосмысленном и звучном языке. Белинский так охарактеризовал русскую поэзию до Пушкина:

Это была поэзия до наивности невинная: она гремела одами на иллюминации, писала нелепые стишки к мыльным и была совершенно счастлива этими идиллическими занятиями. Действительностью ее была мечта, а потому действительность ее была самая аркадская, в которой невинное бляение барашков, воркование голубков, поцелуи пастухов и пастушек и сладкие слезы чувствительных душ прерывались только не менее невинными возгласами: „пою“, или „о, ты, священна добродетель“ и т. п. Даже романтизм того времени был так наивно невинен, что искал эффектов на кладбищах и пересказывал с восторгом старые бабьи сказки

о мертвецах, оборотнях, ведьмах, колдунах, о деде, за ропот на судьбу заживо уведенной мертвым женихом в могилу, и тому подобные невинные пустяки.

И сам Пушкин в 1824 году писал: „у нас еще нет ни словесности, ни книг“.

Разумеется, мы не можем представлять развитие русской литературы начавшимся только с Пушкина, мы не можем утверждать, что Пушкин не имел связей с предшествующей ему русской литературой. Европейец в своем литературном развитии, освоивший величайших поэтов всех времен и народов европейского мира, Пушкин в то же время завершил предшествующий период русской литературы, впитав в себя все ценное в наследии ее лучших представителей. Молодого Пушкина, сходя во гроб, благословил старик Державин. Жуковский дарит поэту Пушкину свой портрет с надписью: „Ученику победителю от побежденного учителя“. В круг своих чтений Пушкин-лицеист, наряду с представителями мировой литературы, включает и русских писателей XVIII в. и современных. В лирических, драматических жанрах, в первой своей поэме („Руслан и Людмила“) Пушкин идет от классицизма XVIII в. Говоря о себе как о „романтике“ (по воспоминаниям А. В. Фуке), он не забывает казанского поэта Г. Каменева, члена „Вольного общества“, начала XIX в. „Это замечательный человек и сделал бы многое, ежели бы не умер так рано. Он первый отступил от классицизма и мы, русские романтики, обязаны ему благодарностью“. В своем движении к жизненному содержанию поэзии, к реалистической прозе Пушкин отправляется не только от опыта западно-европейской литературы, но и обращается к сокровищнице устного народного творчества, к памятникам древней письменности, к представителям „народной“ линии в XVIII в., живым выразителем которой в современной ему литературе для Пушкина был всегда И. А. Крылов.

Являясь родоначальником русского национального языка, Пушкин опирается на опыт прошлого.

Письменный язык, — писал Пушкин, — оживает поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отражаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка.

Крепко связанный личными и литературными отношениями с членами „Арзамаса“ и сам введенный в состав его, правда, в конце существования этого литературного объединения, Пушкин позднее сумел выделить положительное и в „славянisme“ и „народности“ Шишкова и его школы. Так, в 1823 году он пишет кн. Вяземскому:

Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похальность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота ему более пристали.

Более того: преемственностью в борьбе за язык литературы Пушкин связан не только с карамзинистами и шишковистами. Своим критическим отношением к крайностям и односторонности той и другой школы и своей языковой практикой Пушкин примыкает к той линии борьбы за

язык на два фронта — против шишковистов и против карамзинистов, — которая, хотя и слабо, все же наметилась в первом десятилетии XIX в. в деятельности „Вольного общества“. Если эта линия, третьесословная, буржуазная по своей направленности и „народности“ в языке, и не была, может быть, теоретически осознана Пушкиным, то практически именно он и развил эту линию. Именно его язык создавал широчайшие возможности приобщения к культуре народных масс, именно пушкинский язык — язык глубоко идейного содержания — и был для своего времени „национальным“ в истинном смысле слова. Он поднимал читателя на высоты общеевропейской культуры и был свободен от той установки на сохранение культурной дистанции между господствующими классами и народными массами, которая в одинаковой мере — с разными формами и с несущественными различиями в содержании — определяла дворянскую языковую политику и шишковистов и карамзинистов.

О связях преемственности Пушкина с этой именно линией говорит и постоянный интерес его к языку и поэтике Радищева, определившего социальную направленность литературной деятельности радикальных членов „Вольного общества“. Об этих же связях говорит и высокая оценка Пушкиным поэтической деятельности Батюшкова, начавшего свою литературную деятельность в кругу „Вольного общества“. Для Батюшкова имена деятелей этого литературного объединения, возникшего задолго до „Арзамаса“, были не пустыми звуками, а полны содержания. Так, в 1817 году, набрасывая для себя схему истории русской литературы, он говорит не только о „влиянии на язык вообще“ Карамзина, не только находит, что Шишков и „прав“ и „виноват“, но считает обязательными „интересные статьи“ о Радищеве, Панине, Никольском, Колычеве; до конца жизни Батюшков сохранил положительное отношение к литературной деятельности А. П. Беницкого, члена „Вольного общества“, издавшего в 1807 году альманах „Талие“ и издававшего в 1809 году вместе с А. Е. Измайловым журнал „Цветник“.

В языке, в формах и содержании своего творчества Пушкин сомкнут с предшествующим периодом русской литературы, являясь его завершителем. Но в то же время он новатор, опирающийся в своей работе на те ростки будущего в прошлом и настоящем, которые являлись зачатками русской буржуазно-национальной литературы. В качестве „новатора“ он был поэтом такого широкого всеобъемлющего содержания, своему языку, формам своих произведений он дал такую степень совершенства, вся его литературная деятельность была настолько искусством новых качеств, что с него, с Пушкина, действительно, начинается история истинной и полноценной национальной литературы, по отношению к которой предшествующая литература является только подготовительной.

* * *

Нам, читающим Пушкина спустя сто лет после его смерти, легко ощутить то расстояние, которое отделяет Пушкина от его предшественников. С достаточной ясностью мы представляем и то влияние, какое оказали произведения великого поэта на современное ему и последующее развитие литературы. Языку у Пушкина учились представители всех школ и направлений русской литературы XIX века. Даже отрицательное отношение к наследию Пушкина как к „искусству для искусства“,

имевшее место среди некоторых групп разночинной интеллигенции середины прошлого века, все же шло рядом с признанием высоких достоинств языка Пушкина. Свою связь ученичества, преемственности с Пушкиным засвидетельствовали многочисленные писатели прошлого века — поэты и прозаики, начиная с Лермонтова и Гоголя и кончая Л. Толстым и А. Блоком. Даже художники, являющиеся представителями новых общественных классов, выразителями новых качеств в искусстве, начиная с революционных демократов и кончая М. Горьким и В. Маяковским и поэтами наших дней, рано или поздно обращаются к Пушкину как учителю в прокладывании новых путей в искусстве.

В области жанров — поэтических и прозаических — Пушкин явился непререкаемым законодателем канонических норм для всей литературы XIX века и начала XX в.

Многие пушкинские темы снова и снова разрабатываются его преемниками и учениками. Тема Кавказа, „Кавказского пленника“ через Лермонтова идет к Л. Толстому и снимается с порядка дня только окончательным „замирением“ Кавказа. Тема крестьянского восстания, исторической трактовке которой блестящее начало положил Пушкин своими повестями („Капитанская дочка“, „Дубровский“) и к которой не имела вкуса дворянско-буржуазная литература, подхватывается народнической литературой, поддержанная в ней публицистическими и научными работами по истории народных движений; эта тема сохранила свою действенность и в советской литературе, в ее „народнической“ ветви исторического романа, исторической поэмы. Тема Петра, в пушкинском понимании его как деятеля „новой“ России, пытавшегося поставить Московию на путь капиталистического развития, привлекает к себе внимание художников слова вплоть до наших дней (роман А. Н. Толстого).

„Герои“ пушкинских произведений — Онегин, Ленский, Гринев, Белкин, наделяемые новыми социальными устремлениями, видоизменяя со сменой поколений свой культурный облик, проходят по романам и повестям Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Писемского, Достоевского, Л. Толстого. Пушкинская схема противопоставления двух женских образов — Марии и Заремы („Бахчисарайский фонтан“), Татьяны и Ольги („Евгений Онегин“), как бы символизирующих красоту „земную“ и „небесную“, организует ряд романов русских классиков прошлого века, начиная с Гончарова (все романы), продолжая Тургеневым („Дворянское гнездо“, „Отцы и дети“) и кончая Л. Толстым („Война и мир“) и Достоевским („Идиот“ и др.).

Повторяем, освоение и дальнейшее развитие начал буржуазно-национальной литературы и национального языка, нашедших свое выражение в поэтической деятельности Пушкина, идет через весь XIX в., представляя собой одну из основных линий истории русской культуры. Меры и формы приятия или отрицания Пушкина всегда являлись важным значимым показателем соотношений различных общественных классов в их борьбе за культуру и пути ее развития. „Национальное“ значение пушкинского наследия в той или иной мере осознавалось всегда, начиная с середины прошлого века, независимо от того, принималось ли оно с тем или иным положительным знаком или отрицалось как неприемлемое для нового понимания путей становления и развития русской культуры.

Осознана ли была историческая миссия литературной деятельности Пушкина его современниками? Насколько Пушкин как личность нового типа и содержания, насколько его произведения стали организующими началами русской культуры еще при жизни поэта? Широко ли было заражающее, двигающее вперед воздействие пушкинского творчества на другие искусства?

* * *

Заранее, исходя из общих теоретических предпосылок, из учета классовых соотношений в пушкинскую эпоху, из наших представлений о широте и глубине пушкинского гения и о невысоком уровне культуры господствующих классов дворянской дореформенной монархии, мы можем сказать, что полноценное осмысление деятельности Пушкина могло иметь сравнительно ограниченные пределы.

Прежде всего личность поэта во всем ее своеобразии и культурной многозначности не была осмыслена и признана в дни его жизни. Мы знаем, что в условиях развернутой буржуазной общественности, в условиях установившегося признания социальной значимости литературы писатель является в то же время и общественным деятелем. И в меру его таланта, в меру его способности и готовности выразить ведущие устремления своей эпохи, своего класса он становится своего рода организующим началом общественности, объектом почета и любви со стороны единомышленников и ненависти, злобы и клеветы со стороны врагов. В атмосфере сильных чувств, внушаемых его деятельностью и личностью, писатель не чувствует себя одиноким. Он сознает свою тесную связь с обществом, и это сознание делает его работу особенно плодотворной, значимой и для него самого.

Так вся публицистическая и художественная деятельность Л. Толстого второй половины его жизни прошла под знаком всеобщего и российскийского и мирового признания его гения. Это признание давало художнику полноту жизни; любовь друзей и ненависть врагов исключали возможности создания вокруг него и мира его идей атмосферы равнодушия, которая отравляет, расслабляет творческие силы. Общепризнанная мировая значимость личности Л. Толстого была столь велика, что даже самодержавная власть, которой Л. Толстой нанес немало ударов, не решилась наложить на писателя руки, ограничившись преследованием его учеников и последователей, да смешным и глупым отлучением от церкви непримиримого врага казенной православной церковности.

Еще большее значение личность великого художника, живущего одной жизнью со своим классом, приобретает в условиях пролетарской общественности, в свободной атмосфере создания культуры б-склассового общества. Достаточно только напомнить, какую глубокую любовь и нежность питают к М. Горькому миллионы рабочих и крестьян страны Советов, приобщившихся к культуре, напомнить, что те же чувства к автору „Матери“ разделяют и миллионы зарубежных почитателей пролетарского художника... И мы поймем, что в такой атмосфере каждое слово писателя будет воспринято миллионами во всей полноте его содержания, его силы и красоты, его социальной значимости; поймем, что в таких условиях сочувственного признания ненависть врага, клевета — а ненавидят М. Горького враги пролетариата и страны Советов с той

же силой страстности, с какой мы любим его, — является только новым побуждением, действенным стимулом к повышению творческой энергии; поймем, что у признанного певца и борца класса, уже осознавшего себя как класс и выполняющего свою великую миссию освобождения человечества, не может и зародиться настроение своей отъединенности, обреченности. Признанный поэт класса, выражающего прогрессивные тенденции исторического процесса, не может стать певцом искусства для искусства и никогда не встанет в позу поэтического равнодушия к „обществу“, ибо он превосходно знает, что существует не единое общество, а общество, разделенное на классы, общество „друзей“ и „врагов“ поэта.

Иные настроения создаются у писателя, когда не выявили себя с достаточной мощью те общественные силы, выразителем устремлений которых он является. Разумеется, и в таких условиях не может быть речи об отходе писателя от общественной жизни, об уходе его в башню из слоновой кости, в область чистого незаинтересованного искусства (по Плеханову). Ни Салтыков-Щедрин в 80-е годы, годы жесточайшей реакции после казни Александра II, ни М. Горький после разгрома революции 1905 года, в атмосфере вынужденной эмиграции, ни на минуту не прекращали борьбы, не свертывали знамен боевого, крепко связанного с жизнью искусства. Но „оброшенность“ (Щедрин), но некоторую отъединенность от действенного исторического процесса (М. Горький) чувствовали и они. У Щедрина это нашло выражение в настроениях „тоски“, в устремлении к мучительному пересмотру своего прошлого; у М. Горького — во временном искривлении линии передового борца революционного пролетариата (симпатии М. Горького к „богостроительству“, „Исповедь“).

Первые годы литературной деятельности Пушкина, вплоть до разгрома декабристов, протекали в благоприятных условиях для него как для поэта и человека новой слагающейся культуры. Пушкин писал кн. Вяземскому 10 июля 1826 года: „я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков“. Эта „связь“ и в петербургские послелицейские годы, и в годы скитальчества на юге, и в псковской ссылке (в с. Михайловском) давала ему непосредственное ощущение близости своих поэтических устремлений с основными настроениями передовых слоев общества, как бы он ни относился к конкретным программам и методам действий отдельных политических группировок и как бы ни далека была от истинной оценки его политической деятельности убогая печатная литературная критика того времени.

Эта „связь“ подкреплялась еще не потерянными и не порванными отношениями „дружбы“ с лицейскими товарищами; воспринималась она в атмосфере взаимопонимания с литературными друзьями более старшего поколения. Близость и с этими друзьями, особенно с кн. Вяземским, либеральные воззрения которого тогда были в полном расцвете, создавала атмосферу единомыслия, общности европейских буржуазно-освободительных устремлений, на фоне которых поэтическая деятельность Пушкина — и для самого поэта — звучала как убедительно значимая деятельность общественного порядка.

По переписке кн. Вяземского с братьями Тургеневыми мы особенно ясно ощущаем, с каким тоном отношений к действительности имел дело

Пушкин в этой среде — и в порядке личных встреч (до высылки из Петербурга), и в порядке переписки в годы юных скитаний.

Вот как в письме к А. И. Тургеневу из Варшавы от 29 августа 1819 года П. А. Вяземский размежевывается с предшествующим поколением, с людьми XVIII в.: „Прежний крик был: наслаждение, нынешний: польза!.. Мы — поколение Катонов, как ни говори; а отцы наши были сибариты“. Кн. Вяземского в эти годы волнуют те вопросы, от которых Пушкин в отличие от своих либеральных друзей кануна 1825 года не отходил никогда. 6 февраля 1820 г. Вяземский пишет А. И. Тургеневу о крепостном праве, об отношении к нему помещиков:

Мы призваны, по крайней мере, слегка перебрать стихии, в коих таится наше будущее. Такое приготовление умерит стремительность и свирепость их опрокидания. Правительство не дает ни привета, ни ответа: народ завсегда, пока не взбесится, дремлет... Рабство — на теле Российского государства нарост... Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубили этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство — одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего — все от этой меры зависит.

Тоска по свободе, неудовлетворенность политическим строем страны, невысоким культурным уровнем господствующего класса определяют тон всей переписки кн. Вяземского этих лет и с Пушкиным, и с братьями Тургеневыми. 24 декабря 1820 г. Вяземский пишет А. И. Тургеневу:

Есть, конечно, в России общество мыслящих, но это общество глухонемых. С ними говорить можно только на лице и знаками: ничего не раздается, вся умственная работа производится потаенно. Доживем ли до того, чтобы прорвалась она? Иногда бешенство, иногда жалость, иногда смех обхватывает меня.

И 25 декабря того же года:

Сейчас сбросил с себя золотой хомут. Ездил платить двоякую дань феодализму христианства и феодализму власти: был в церкви и во дворце.

Позднее кн. Вяземский с большим вкусом будет платить „двоякую дань феодализму“, но пока как бы на это письмо отвечает ему Пушкин 27 мая 1826 года:

Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чужные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские моды... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство.

Пушкин заканчивает это письмо в шуточных тонах:

В 4-й песне Онегина я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно. Услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница!

Позднее, без изменения основного тона отношения к российской действительности, эта шутивая окраска его у Пушкина исчезнет, сменявшись настроением более мрачным и тяжелым. Но пока он вместе с друзьями живет, хотя и „потаенной“, напряженно¹ жизнью европейского тона и содержания. И друзья радостно приветствуют первые шаги поэта. Так, кн. Вяземский пишет А. И. Тургеневу 1 августа 1819 года:

...Где кушанье готовит не Жуковский, не Батюшков, не молодой Пушкин, не Воейков, — там у нас есть нечего: все прочее — дощечка сухого бульона, сочная живность только у них водится.¹

В письме к нему же от 27 ноября 1820 года: „Не только читал Пушкина, но с ума сошел с его стихов. Что за шельма!“ И А. И. Тургенев, жалуясь Вяземскому на молчание сосланного Пушкина, пишет:

Нас забыл.

Perdu pour ses amis, il vit pour l'univers;
Nous pleurons son absence, en repetant ses vers.²

Еще в 1827 году поэт В. Туманский, ученик и почитатель Пушкина, пишет ему из Одессы:

Не забывай, что тебе на Руси предназначено играть роль Вольтера (разумеется в отношении к истинному просвещению). Твои связи, народность твоей славы, твоя голова, поселение твое в Москве — средоточии России, все дает тебе лестную возможность действовать на умы с успехом, гораздо обширнейшим против прочих литераторов.

Но эта атмосфера сочувствия и взаимопонимания для зрелого Пушкина не расширяется, а сжимается. Исчезли с поверхности общественной жизни декабристы, разошлись по своим, далеким от пушкинских, путям жизни лицейские товарищи Пушкина. Как бы предвестием будущего трезвенно-дружеского отношения к Пушкину его старших по возрасту литературных друзей являются строки из письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву от 26 сентября 1822 года:

В поэме („Кавказский пленник“) либерала Пушкина слог живописен: я недоволен только *любвым похощением*. Талант действительно прекрасный: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия.

Желанные и близкие Карамзину „устройство и мир в душе“ великолепно развили в себе и Вяземский, и Жуковский, и иные друзья

¹ Любопытно, что подобная же оценка поэтической деятельности молодого Пушкина нашла выражение и в печати того времени. Поэт Андрей Козлянинов в „Предисловии“ к книжке своих стихов „Урывки времени“ (СПб., 1820) восклицает:

Жуковский, Батюшков, Воейков, Пушкин юный!
Любимые пенцы счастливых наших дней,
Прикройте крыльшком, чтоб завистя ветр буйный
Безвреден лире был моей.

Цензурное разрешение на книжку А. Козлянинова дано 9 июля 1820 г., на „Руслана и Людмилу“ Пушкина — 15 мая того же года.

² Потерянный для своих друзей, он живет для вселенной; мы оплакиваем его отсутствие, повторяя его стихи.

Пушкина, а сам он до конца жизни был в неустанной тревоге, в вечной борьбе с самим собой и окружающей действительностью и никогда не мог усвоить примиряющего с жизнью „благоразумия“. Отсюда при сохранении всей внешней силы дружеских связей — ослабление их внутренней содержательности, уменьшение их положительного значения для самочувствия Пушкина и для его литературной деятельности.

Правда, высокая оценка поэтического таланта Пушкина остается всегда неизменной в кругу его близких друзей. Так, в 1832 году, когда Пушкин был в Москве, П. А. Вяземский пишет И. И. Дмитриеву: „Rome n'est plus dans Rome, ille est tout à Moscou.¹ Царь и Пушкин у вас, политика и литература воцаренная. Теперь Петербург упраздненный город“. Но, по существу, интерес к содержанию творчества Пушкина падает. Характерным подтверждением этого является то, что в переписке Вяземского с Тургеневыми в 30-ые годы имя Пушкина — в литературном плане — встречается гораздо реже, чем на грани второго и третьего десятилетий прошлого века. И это даже в условиях усиления интереса европейцев к русскому поэту. Так, например, Тургенев в письме из Парижа от 29 февраля 1836 года без особого интереса, как бы мимоходом, сообщает Вяземскому: „Ламартин просит у меня стихов Пушкину в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня графу Шувалову перевести, но еще не остановился на выборе пьесы“. Еще более показательным является письмо А. И. Тургенева Вяземскому из Киссингена от 22 июня 1839 года, из которого видно, что иностранец лучше знает Пушкина, чем человек из самого близкого ему окружения. В этом письме мы читаем: „Фарнгаген познакомил меня с новыми для меня стихами Пушкина“, Ф. „читает мне наизусть Пушкина“.

Иллюстрацией к тому, как нелегко доходили до осознания национального значения Пушкина и его творчества современники великого поэта, восхищавшиеся прелестью его стихов, могут служить высказывания М. П. Погодина. М. П. Погодин познакомился с Пушкиным только в 1825 году, но затем был близко связан с ним. По воспоминаниям Ф. И. Буслаева, тогда слушателя Погодина в Московском университете, М. П. Погодин на лекции в первые дни февраля 1837 года взошел на кафедру

весь взволнованный, бледный, измученный, сам не свой, — ...точно после тяжелой болезни“. Речь его прерывалась рыданиями. Он говорил: „...Имя Пушкина принадлежит Русской истории... Сочинениями Пушкина начинается новая эпоха в русской литературе, эпоха национальности.“

Сам Погодин с восторгом говорит, например, о том впечатлении, которое произвел на него „Борис Годунов“ в 1826 году в чтении самого Пушкина:

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно... Надо припомнить, — мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то

¹ Рим уже не в Риме, он весь в Москве.

время... Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и между тем пиитическую увлекательную речь... Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эван, эвое, дайте чаши.

Свои впечатления от чтения так резюмировал Погодин:

О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.

Но не нужно забывать, что взволнованная речь, которую слышал Ф. И. Буслаев, была произнесена после получения известия о смерти Пушкина, а впечатления от „Бориса Годунова“ записаны Погодиным через 40 лет после пушкинского чтения, записаны в те годы, когда вокруг имени Пушкина уже развернулась ожесточенная борьба, когда имя Пушкина многие хотели написать на знаменах своего классового понимания русской национальной культуры.

А вот непосредственное впечатление Погодина, занесенное им в „Дневник“, от личности Пушкина и от чтения его ранних произведений. В „Дневнике“ 1820 года Погодин записал:

Говорил с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его „Вольность“, о свободном, благородном духе, появляющемся у нас с некоторого времени... Восхищался некоторыми описаниями в Пушкинском „Руслане“; в целом же такие несообразности, нелепости, что я не понимаю, каким образом они могли придти ему в голову.

Приехав из Знаменского в Москву в 1822 году, по выходе в свет „Кавказского пленника“, Погодин спешит к Тверским воротам, чтобы купить книгу; но книжная лавка уже заперта. Идет туда же на другой день, купил. Дорогой не утерпел, на-ходу „прочел половину“, нашел поэму „превосходной“. Но в своем разборе „Кавказского пленника“, напечатанном в первой книжке „Вестника Европы“ за 1823 год, не обнаружил глубокого понимания поэмы. Правда, он объявляет Пушкина „молодым атлетом“, называет его поэму „прелестным цветком на Русском Парнасе“, утверждает, что „в Кавказском пленнике, вместе с юным, крепким, пылким воображением, видно искусство и зрелый плод труда; соображение обширнее, план правильнее“ (чем в „Руслане и Людмиле“). Но как первая поэма, продолжает он, „не удовлетворила во многих отношениях строгим требованиям знатоков“, так и по отношению ко второй он выступает в суровой позе „знатока“. Он упрекает Пушкина за то, что его пленник смотрит на любовь не с благородной стороны. Можно ли выставлять такие чувства! Сии стихи, скажем кстати, не напоминают ли соблазнительности, коими наполнена первая поэма Пушкина. Пусть вспомнит он, что первым украшением Гомеровою Венеры почитается пояс стыдливости. Неужели чувственности должна говорить Поэзия? Это ли святая цель ее?

А вот первое впечатление от первой встречи с Пушкиным в 1826 году: „Превертлявый и ничего не обещающий снаружи человек“ (сентябрьская запись в „Дневнике“ Погодина 1826 года).

* * *

Едва ли нужно еще раз повторять, что критика пушкинской эпохи не сумела — да и не могла — раскрыть и осмыслить всю значимость того нового, что было внесено Пушкиным в русскую культуру и литературу. Для представителей старого феодального мира, желавшего сохранения в неприкосновенности основ крепостнического государства и дворянской сословной культуры, это новое было просто неприемлемо. И здесь прежде всего отношение цензуры и, в частности, личного цензора пушкинских произведений Николая I. Не имея возможности до конца „присвоить“ Пушкина, Николай никогда не был поклонником пушкинской поэзии. Мало того, высокая оценка литературной деятельности Пушкина, признание за ней национального значения всегда вызывали в нем неудовольствие и раздражение. Так было при жизни поэта, так было и после его смерти. Даже через 15 лет после смерти поэта это отношение осталось неизменным. Об этом говорит следующий факт: В докладной записке, поданной царю в 1852 году М. П. Погодиным по поводу продажи его Древнехранилища, было такое место о рукописях русских писателей:

Отрывок из истории Карамзина, в которой Россия впервые ознакомилась с прошлыми своими судьбами, ненапечатанные стихотворения Пушкина и Языкова, подлинник *Мертвых душ* Гоголя, — не живая ли это История Отечественной Литературы с ее самыми дорогими именами.

Сообщая Погодину о впечатлении, произведенном запиской на царя, А. Ф. Бычков пишет: „Государь подчеркнул слова: Пушкин, Гоголь, с ее самыми *дорогими именами*, а с боку поставил достаточное количество вопросительных и удивительных знаков“.

Мы прекрасно знаем, как относился Пушкин к „критике“ Николая I и Бенкендорфа, ставивших преграды свободному выявлению личности поэта в жизни, творчестве. Мы знаем, что невысоко расценивал поэт и „эстетическую“ критику своего коронованного цензора.¹

К критическим нападкам „староверов“, защищавших традиции допушкинской литературы, Пушкин относился с вполне заслуженным пренебрежением, утверждая, что „эта критика не имеет никакой самостоятельности и почти никакого влияния на судьбу литературных произведений“. При всем своем теоретическом убожестве она все же выражала социальные тенденции, прямо прогивоположные тем, которые вносила в русскую культуру Пушкин. В этом смысле весьма показательны воз-

¹ Любопытный эпизод находим мы в подлинных „Записках“ А. О. Смирновой-Россет. Отвечая на вопрос своего собеседника — „Как государь цензурит Пушкина? — она рассказывает: „Неприменно... Раз он мне сам передал „Графа Нулина“. Там же сказано: в спальне стоял урыльник. Государь поставил будильник. Это очень развеселило Пушкина. Он мне сказал: „Видно, что это джентльмен поставил будильник: где же нашей браии, сволочи, заводить будильники. Я у себя поставил для урыльника горшок из-под каши и велел его беречь, как (слово не разобрано)“. В другой записи А. О. Смирнова так передает иронические слова Пушкина: „Это замечание джентльмена. А где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам полоскал его с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой“.

мушение критика „Вестника Европы“ простонародностью языка „Руслана и Людмилы“:

... Позвольте спросить: если бы в Московское Благородное Собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бороною, в ярмяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: „Здорово, ребята“. Неужели бы стали таким проказником любоваться?

Ф. Булгарин в 1830 году по поводу VII главы „Евгения Онегина“ писал в „Северной пчеле“:

Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение!

Сочувственная Пушкину критика двадцатых годов приветствовала появление каждого нового произведения Пушкина; в статье Киреевского (1828 г.) указывается даже на то, что поэзия Пушкина способна „отражать в себе жизнь своего народа“. В связи с оценкой „Бориса Годунова“ Надеждин, ранее не ценивший Пушкина, говорит в 1834 году, что

в русской словесности близок должен быть поворот искусственного рабства и принуждения, в коем она доселе не могла дышать свободно, к естественности, народности.

Но ни Полевой, ни Надеждин — предшественники революционно-демократической критики Белинского, ни сам Белинский в тридцатых годах не осмыслили до конца национального значения творчества Пушкина. Более того, Белинский, после смерти Пушкина так много сделавший для выяснения исторического значения Пушкина, в 1835 году говорит, что Пушкин „уже совершил круг своей художественной деятельности“. В этом суждении Белинский суммировал как бы общее отношение русской критики к литературной деятельности Пушкина 30-х годов.

Наиболее высокую и правильную оценку творчества Пушкина при жизни поэта дал другой великий художник эпохи. Мы говорим о Гоголе. В статье „Несколько слов о Пушкине“, включенной в „Арабески“, Гоголь писал:

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле никто из поэтов наших не выше его и не может быть более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его прелесть. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская и т. д.

Но оценка Гоголя в ее широте и категоричности осталась одинокой и невоспринятой при жизни поэта. И, в частности, проза Пушкина осталась совсем непонятой и неоцененной современниками в ее значении для развития буржуазного реализма.

* * *

Пушкин, как эхо отзывавшийся на все звуки жизни, не только в письмах и критических статьях, но и в художественных произведениях выразил свое отношение к фактам из области разных искусств своего времени.

Вся современная Пушкину русская художественная жизнь проходит через произведения Пушкина, в них заключена как бы эстетическая хроника эпохи. Великолепные архитектурные пейзажи Петербурга с одухотворяющим их образом Петра (Фальконетовский памятник), сцены из жизни театра, оперы и балета, краткие, но эстетически полноценные отзвуки на явления современной Пушкину живописи, скульптуры, — все это таило в себе возможности громадного творческого воздействия на всю русскую художественную культуру, притом воздействия в направлении к искусству новых качеств, к народному искусству, искусству ясному, простому, свободному, искусству богатого социального содержания. „Картичность“, „музыкальность“, композиционная ясность и стройность пушкинских произведений, тщательная мастерская обработка самого „материала“ искусства — человеческого слова, — все это, в свою очередь, должно было дать новое направление не только литературе, но и другим искусствам. Бесконечная содержательность пушкинских произведений, многосмысленность пушкинского слова, пушкинских образов, глубокие человеческие переживания, сильные страсти, большие вопросы мысли, — все это должно было находить отзвук и на языке других искусств: в попытках интерпретации пушкинских тем, в комментировании средствами изобразительных искусств, средствами музыки пушкинских образов, в усвоении, наконец, пушкинской высокой логической культуры, в приближении к ней и других искусств. Пушкинский гений призывал и толкал и другие искусства страны на путь и высоту национального развития.

Позднее Пушкин стал властителем дум не только художников слова. Но при жизни поэта ни одно из искусств в России не стало на ту высоту национального самосознания и ту степень мастерства, на которую было поднято Пушкиным искусство слова. И то, что создал Пушкин, в его содержании и мастерстве было в малой степени освоено его современниками-собратьями, творившими средствами других искусств.

Более всего освоила пушкинские начала литература; мы знаем целую „пушкинскую плеяду“, которая не только росла вместе с ним, но и испытывала на себе благотворное влияние его гения. Учениками Пушкина стали и его старшие современники, и его „учителя“. Но никто из них не смог подняться на высоту содержательности пушкинского гения. Еще Л. Н. Майков в 1899 году сказал:

в том-то и была беда мелких поэтов пушкинского времени, что все они как бы роковым образом увлекались на путь подражания, все более или менее успешно усваивали себе внешние приемы

своего великого образца, но и только: внутренняя сущность пушкинского творчества, его удивительное умение соединять изящество формы с глубоким содержанием, все это оставалось им чуждым.

Поэзия Пушкина в традиционном направлении смыка личного книжного творчества с фольклором — в песне, романсе, балладе — вошла уже при жизни поэта в „песенники“. Пушкинские произведения этого типа вызвали музыкальную интерпретацию (Альбьев, Верстовский, Титов, Глинка, Вьельгорский и др.); были попытки использования пушкинских тем в балете, в опере (музыкальные сцены Алябьева из „Кавказского пленника“). Интерпретация произведений Пушкина в графике („Евгений Онегин“, „Бахчисарайский фонтан“, „Борис Годунов“ и др.) не приняла при жизни поэта широких размеров и не стояла на высоком уровне; в этом отношении баснописец Крылов был гораздо счастливее Пушкина. Не вошел Пушкин в живопись своей эпохи, и даже прижизненными портретами поэта мы весьма не богаты.

Исторически Пушкин оказался впереди своего времени. Мрачная эпоха мучительного становления новой общественности трагически завершила личную судьбу поэта, при всем многообразии личных связей и отношений бывшего в тридцатые годы одиноким. Признания национального значения переворота, совершенного им в языке и литературе, принятие того, что Пушкин внес в русскую литературу, пришло позднее, после смерти поэта. Полное же сознательное освоение наследия Пушкина сделалось возможным только в наши дни, когда оно стало впервые доступно широчайшим народным массам.

Вокруг еще не остывшего труп Пушкина завязалась глухая, молчаливая — по времени — борьба. Десятки тысяч буржуазно-демократического населения Петербурга пришли поклониться затравленному поэту. Смутно сознавая национальное значение личности поэта и его дела, смерть его они восприняли как преступление. Виновники же преступления как ночные воры украли у народа и труп убитого Пушкина.

Двойственное отношение было и к произведениям поэта. Десятки лет тому назад в Нижегородской архивной комиссии я перелистывал „дело“ о подписке на посмертное издание сочинений „камер-юнкера“ А. С. Пушкина. Изо всех уездов губернии, в одном из глухих углов которой поэт прожил плодотворную осень 1830 года (в Болдине), от предводителей дворянства поступили сведения, что среди господ дворян, желающих подписаться на сочинения г. Пушкина, не оказалось ни одного. А вот справка из рукописного каталога 1835 года „библиотеки для чтения, состоявшей в гор. Торжке, у Якова Федоровича Вавулина“. В каталоге скромной по количеству книг „мещанской“ библиотеки уездного городка мы находим ряд пушкинских произведений: „Повести, изд. А. Пушкиным“, 3 тома „Сочинений“ Пушкина, „Евгений Онегин“, „Руслан и Людмила“ и ряд альманахов и сборников, в которых печатались произведения Пушкина („Новоселье“, „Полярная звезда“, „Невский альманах“ и др.).

Любопытным отзвуком создававшегося тона отношений к Пушкину его провинциальных читателей и почитателей является книжка Александра (кавалериста-девицы Н. Дуровой) „Год жизни в Петербурге“. Для

Дуровой Пушкин — „славный поэт“, „один из первых поэтов в Европе“; по ее мнению, Пушкин „из скромности только подписывается под своими стихотворениями; но что они вовсе не имеют в этом надобности, что их можно узнать и без подписи“. Письмо, полученное от Пушкина, служит для Дуровой в провинции „вместо талисмана“. Вот как описывает она посещение ее Пушкиным:

Карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда; я покраснела, представляя себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца!.. Но вот отворилась дверь в приемную!.. я жду с любопытством и нетерпением!.. отворяется дверь и ко мне, но эго еще пока мой Тишка; он говорит мне шопотом и вытянувшись: „Александр Сергеевич Пушкин!“ — Приси!.. Входит Александр Сергеевич!.. К этим словам прибавить нечего!..

Дурова дает зарисованные с натуры сценки из семейной жизни Пушкина. Таким образом живой поэт входил в художественную литературу. Писала свою книжку Дурова при жизни поэта. Но в печати появилась она только в 1838 году, уже после смерти Пушкина.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕНИК

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
Ж У Р Н А Л

Я Н В А Р Ь • 1 9 3 7

1

ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“